

18+

Егор Тригорьев

Камертон



Егор Григорьев

Камертон

«Издательские решения»

Григорьев Е. В.

Камертон / Е. В. Григорьев — «Издательские решения»,

Москва, октябрь. Дождь идёт шестой час. Трое незнакомцев делают шаги, которые изменяют их жизни. Андрей Соболев переводит три миллиона — чтобы разорвать ниточку долга. Лев находит в буккроссинге книгу профессора Новикова с надписью: «Позвони, если хочешь изменить жизнь». Екатерина спасает старика в парке, нарушая все правила, и впервые за пятнадцать лет не чувствует вины. Их жизни связаны музыкой и камертоном, который начинает звучать. Мир настраивается на унисон — даже когда мы этого не слышим.

© Григорьев Е. В.

© Издательские решения

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ	6
ГЛАВА 1. АНДРЕЙ. УТРО	6
ГЛАВА 2. ЛЕВ. ДОЖДЬ И ЗНАКИ	12
ГЛАВА 3. ЕКАТЕРИНА. ВРАЧ ИЗ ПАРКА	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Камертон

Егор Викторович Григорьев

© Егор Викторович Григорьев, 2026

ISBN 978-5-0070-6424-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Мир говорит с нами постоянно. Просто мы не всегда слушаем»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ ГЛАВА 1. АНДРЕЙ. УТРО

08:14. Бизнес-центр «Парус», 17-й этаж. Температура в кабинете: 21,6° С. За окном — октябрь, серый, как старый асфальт

Свет в кабинете Андрея всегда включался за сорок секунд до его прихода — уборщица Галина знала расписание лучше, чем он сам. В 8:12 он миновал турникет, в 8:13 вызвал лифт, в 8:14 переступил порог приемной. Кофе-машина закончила цикл очистки. Кондиционер выгнал ночной застой воздуха, пахнувший пылью ковролина и озоном офисной техники. Андрей замечал эти детали не сознанием — они впечатывались в него, как строка в бухгалтерском балансе: на месте, в порядке, отклонений нет.

Пиджак — в шкаф. Не на спинку стула. Никогда на спинку, потому что ткань вытягивается, потому что небрежность первого часа задает тон всему дню. Монитор ожил. Терминал Bloomberg загрузился. Кофе — американо, без сахара, без молока, чашка подогрета — стоял справа, на расстоянии вытянутой руки. Андрей сделал глоток. Горечь обожгла язык ровно настолько, чтобы мозг получил сигнал: рабочий режим активирован.

Ему было сорок два, и он управлял тремя агентствами недвижимости в разных районах Москвы. Не «владел» — управлял. Слово «владел» отдавало позой, а позы Андрей презирал с той же методичностью, с какой презирал опоздания, несвежие рубашки и слово «творческий» применительно к бизнесу. За двенадцать лет — ни одного по-настоящему крупного провала. Его называли циником, и он не спорил: цинизм — это учет реальности без скидки на надежду.

Дома, два часа назад, было тихо. Андрей стоял на кухне и смотрел, как закипает чайник. Пузырьки поднимались к поверхности, лопались, исчезали. Процесс, который не подчиняется контролю, не поддается ускорению. Вода закипает ровно тогда, когда закипает. Ни раньше, ни позже.

Квартира была пустой. Стерильно чистой. Ни одной лишней вещи — всё убрано по местам, ничего не напоминает о жизни. Андрей смотрел на чайник и думал: «Я не замечаю пустоты, потому что заполняю её работой». Он допил кофе, поставил кружку в посудомоечную машину и вышел.

В лифте он смотрел на своё отражение в зеркальной стене. Серый костюм, синий галстук, чисто выбритое лицо. Идеальный порядок. Отклонений нет.

В 8:32 в дверь постучали. Дважды. Юрист Потапов. Они договорились год назад: Потапов заходит в 8:30, стучит и входит, не дожидаясь ответа, потому что ожидание крадет секунды, а секунды складываются в минуты. Сегодня было 8:32. Две минуты опоздания. Андрей отметил это краем сознания, еще не понимая, что именно эти две минуты станут первой трещиной в долгом дне.

Потапов сел на против. Ему было пятьдесят шесть, он носил очки в тонкой золотой оправе и говорил так, будто оглашал завещание, — с расстановкой, с паузами, с сознанием тяжести каждого слова. Но сегодня пауз было слишком много. Он положил папку на стол —

бумага матовая, цвета топленого молока, Андрей сам выбирал ее для внутренних отчетов, — и ничего не сказал.

— Цифры, — произнес Андрей. Это было не приветствие.

Потапов открыл папку.

— Сделка по «Зеленому бору». Сорвана.

Андрей не моргнул. Где-то на периферии сознания у него работал счетчик. Четыре месяца переговоров с девелоперами. Триста часов работы юридического отдела. Сорок миллионов рублей. Он ждал.

— Причина — ошибка в документации. Кадастровый номер участка указан неверно. Одна цифра.

— Одна цифра.

Потапов назвал фамилию клерка — мальчик двадцати трех лет, в компании полгода. Андрей вспомнил его лицо: бледное, с воспаленными веками, вечно красными от недосыпа. Клерк работал на полторы ставки, брал сверхурочные, экономил на съеме жилья и, кажется, спал по четыре часа в сутки. Андрей знал это, потому что знал все о своих сотрудниках. Знал и не вмешивался — взрослый человек, сам разберется. Теперь оказалось, что этот взрослый человек, не выспавшись в очередной раз, перепутал цифру в кадастровом номере, и сорок миллионов ушли конкуренту, который подал документы на три дня позже, но без ошибок.

— Кто продавец? — спросил Андрей.

— Профессор Новиков. Квартиру продавал.

Андрей помнил его. Старик с тяжелым взглядом и старомодными манерами — из тех, кто до сих пор носит шляпу и обращается к собеседнику по имени-отчеству, даже если собеседник вдвое моложе. На первой встрече он полчаса говорил не о цене, а о собаке: рыжий спаниель, четырнадцать лет, привык к определенному маршруту прогулок. Новиков требовал прописать в договоре возможность пожизненного проживания для пса — не для себя, для собаки. Андрей тогда выслушал молча, кивнул и внес пункт в дополнительные условия. Он не считал это странным. Он вообще редко считал людей странными — он просто фиксировал их требования, как переменные в формуле.

— Уволить, — сказал он. — Сегодня. С выходным пособием в размере оклада.

Потапов кивнул.

— Еще троих из отдела проверки. Кто визировал документы — все. Если документ прошел через три руки и никто не заметил ошибку, значит, не работал никто.

— Андрей Викторович...

— Я сказал.

Потапов закрыл папку. В кабинете повисла тишина — плотная, как вата. Кондиционер гнал воздух с тихим шипением. За окномплыли облака, плоские и серые, как промокательная бумага. Андрей смотрел на них и не видел. Он видел другое: сорок миллионов, превращающиеся в дым. Двенадцать лет без проколов — и одна ошибка, совершенная не им, но обесценившая все.

— Вы понимаете, — сказал он ровным, почти скучающим голосом, — что потеря не в деньгах. Деньги — это просто цифра. Потеря в репутации. Завтра рынок узнает, что агентство Соболева сорвало сделку из-за описки. Послезавтра нам придется давать скидку каждому второму клиенту. Через месяц...

Он не договорил. На столе завибрировал телефон — личный, не рабочий. Номер, который он не видел полтора года. Бывшая жена.

— Свободны, — сказал он Потапову.

Тот вышел, аккуратно прикрыв дверь. Телефон вибрировал, сдвигаясь по полированной столешнице на пару миллиметров влево, и это движение раздражало сильнее, чем весь утренний разговор. Андрей взял трубку.

— Андрей, — сказала она.

Голос низкий, с хрипотцой, как у курильщицы, хотя она не курила уже семь лет. Когда-то он любил этот голос. Сейчас он слушал его и пытался понять, что чувствует, и не мог — словно часть мозга, отвечающая за эмоциональную реакцию на ее тембр, была аккуратно вырезана.

— Я слушаю.

— Нам нужны деньги.

Она говорила «нам» — это значило: ей и дочери. Их общей дочери, которой сейчас восемь и которую Андрей не видел полгода. Не потому что не хотел — он исправно платил алименты, втрое больше, чем требовал суд, — а потому что встречи как-то сами собой сошли на нет, растворились в графиках, переносах, неловких отговорах. «Нам» — мост, которого он не просил и по которому не хотел идти.

— Сколько?

— Триста тысяч.

Он чуть не рассмеялся. Триста тысяч. Только что он потерял сорок миллионов, а она просит триста тысяч. Масштаб несоизмерим — как землетрясение и трещина в чашке, — но природа та же. Боль человека, который не рассчитал свои силы, который живет не по средствам.

— Зачем?

— Ленка хочет в музыкальную школу. Хорошую. Там нужен взнос.

— Триста тысяч за музыкальную школу. Чудесно.

— Андрей, пожалуйста. Я бы не просила, если бы... Ты же знаешь.

Он знал. Новый муж — художник, продает картины раз в полгода, и то друзьям, и то со скидкой. Она работает в библиотеке за тридцать тысяч. Живут в той самой двушке, которую он оставил им при разводе, — ремонта не было пять лет. Знал — и ничего не делал, потому что это была не его жизнь и не его проблемы. Он заплатил за выход из брака достаточно.

Андрей смотрел на часы, пока она говорила. 9:47. Он мог бы перевести деньги сейчас, закрыть вопрос и забыть. Но он не мог отделаться от мысли, которая пришла к нему, пока она говорила про Лену.

Лена. Его дочь. Он видел её в последний раз семь месяцев назад. Заехал забрать старые документы. Она сидела за столом и рисовала. Он сказал: «Привет». Она ответила: «Привет». И всё. Он забрал документы и уехал.

Он вспомнил, как она родилась. Руки акушера передали ему маленький, тёплый комочек. Она не плакала — смотрела на него широко открытыми глазами. Он держал её и думал: «Я никогда не позволю миру её обидеть». А потом мир обидел её — его же руками. Расписанием. Отсутствием. Молчанием.

Он вспомнил развод. Она сказала: «Ты не умеешь любить. Ты умеешь только контролировать». Он не спорил. Он заплатил. И ушёл. Она была права. Но контроль — это единственное, что у него есть.

— Я переведу, — сказал он в трубку. — До вечера.

— Спасибо. Я...

Он положил трубку раньше, чем она закончила фразу. Благодарность между бывшими супругами всегда отдает долгом, а долг — это форма контроля. Андрей не хотел, чтобы его контролировали. Он вообще не хотел ничего, что выходило за пределы его выверенного, просчитанного мира.

Но мир уже вышел.

В 9:45 он подписал приказы об увольнении. Три фамилии. Подпись — короткая, резкая, почти без нажима. Он думал о том, что каждая из этих фамилий принадлежит человеку, который сегодня проснется, выпьет кофе, придет в офис и узнает, что его жизнь изменилась. Изменилась из-за него, Андрея Соболева, который принял решение, не испытывая ни гнева, ни жалости, — только усталость и странное, почти физическое ощущение пустоты в груди.

В 10:30 он открыл мобильное приложение банка. Нажал «Перевод». Выбрал номер бывшей жены. Сумма: три миллиона рублей. Не триста тысяч. В десять раз больше.

Он смотрел на эту цифру и не узнавал ее. Она казалась нереальной, как будто принадлежала другому человеку, другой жизни, другому сценарию. Андрей Соболев не дарил деньги. Андрей Соболев инвестировал, зарабатывал, приумножал. А сейчас он собирался

отдать сумму, равную годовому бюджету небольшой фирмы, женщине, которую не любил, и ребенку, которого почти не знал.

Мысль возникла не в голове — где-то глубже, в том темном отсеке сознания, который принимает решения раньше, чем рассудок успевает их обосновать. Триста тысяч — это долг. Долг можно вернуть, долг можно напомнить, долг — это ниточка, за которую дергают, когда нужно. Триста тысяч означали бы, что она позвонит снова — через месяц, через полгода, — и в ее голосе снова будет эта смесь унижения и требования, и он снова будет слушать. Три миллиона нельзя вернуть. Три миллиона — это сумма, которая рвет ниточку. Которая говорит: всё, конец, никаких больше звонков. Если уж терять контроль — то до конца. Если уж отдавать — то столько, чтобы это ничего не значило. Ни для него. Ни для нее.

Палец завис над кнопкой «Подтвердить». В кабинете было тихо. Кондиционер достиг заданной температуры и отключился. За окном облака разошлись, и солнце залило стол таким ярким светом, что пришлось зажмуриться.

Андрей зажмурился и нажал.

Перевод выполнен.

Он отложил телефон и долго сидел, глядя на пустую стену, где когда-то висели дипломы и сертификаты. Он снял их год назад, когда понял, что они ему не нужны — он и без них знал, чего стоит. Но сейчас ему вдруг захотелось, чтобы на стене что-то было. Хоть что-то. Пятно. Трещина. Случайная неровность краски — любое доказательство того, что мир не подчиняется расчетам и что иногда вещи происходят не потому, что они логичны, а потому что они... просто происходят.

Он сидел и смотрел на стену. На стене ничего не было. Свет падал на краску, и краска была ровной, и это было невыносимо.

Где-то в животе — или глубже, в том месте, где прячутся чувства, которым он не давал выхода, — что-то дрогнуло. Андрей провёл ладонью по лицу. Кожа была влажной. Он не плакал — он не умел. Но что-то внутри него искало выход. Как звук, который не может найти струну. Как камертон, который никто не слышит.

Он посмотрел на телефон. На фотографию дочери, которую она прислала полгода назад. Маленькая девочка в синем платье, с букетом. Она улыбалась, но не ему — маме, которая держала телефон. Андрей смотрел на эту улыбку и чувствовал, как внутри него разрастается пустота. Пустота, которую он пытался заполнить деньгами, сделками, контролем. И впервые она стала невыносимой.

Он закрыл глаза и представил, как Лена сидит за роялем. Как её пальцы касаются клавиш. Как она запнётся — и продолжит. Он хотел быть рядом. Хотел видеть это. Хотел слышать.

Мысль пришла неожиданно, как удар: «Я хочу научиться играть». Он не знал, откуда она взялась. Он никогда не думал о музыке. Но сейчас она была единственной правдой в этом дне, который начался с ошибки и закончился пустотой.

Андрей открыл глаза. Свет на стене был ровным, без единой трещины. Но внутри него, там, где раньше была пустота, начинал звучать звук. Глухой, расстроенный, но живой. Как струна, которую только что задели.

А в другом конце города — в этот самый момент, 10:47 — молодой курьер по имени Лев, мокрый от дождя и злой от несправедливости, входил в подъезд старого дома на Чистых прудах, где в холле первого этажа стоял стеллаж для буккроссинга, набитый книгами, которые никто никогда не читал.

ГЛАВА 2. ЛЕВ. ДОЖДЬ И ЗНАКИ

07:15. Съёмная комната на окраине Москвы, шестой этаж, окна во двор. Температура в комнате: 14° С. Запах: старая мебель, мокрые носки на холодной батарее, растворимый кофе

Лев проснулся от холода.

Батарея была ледяной — третий день подряд. Управляющая компания обещала прислать сантехника «в ближайшее время», но ближайшее время в этом доме растягивалось, как дешёвая жвачка. Он лежал под двумя одеялами и старой курткой, накинутой сверху, и смотрел в потолок. Трещина на потолке напоминала русло пересохшей реки — он изучил её за те месяцы, что жил здесь, до последнего ответвления.

Комната была маленькой — десять квадратных метров, заставленных вещами, которые не помещались в шкаф. Гитара стояла в углу, прислонённая к стене. На столе — ноутбук, блокнот с текстами песен, три пустые кружки и коробка с дешёвым растворимым кофе. Порядка не было, но Лев знал, где что лежит. В этом хаосе был его собственный ритм.

Он сел на кровати. Голова кружилась от голода. Вчера он так и не поел — после смены добрался до дома, рухнул и отключился. Он встал, натянул свитер, который был на нём три дня подряд, и прошёл на кухню — крошечный закуток с плитой, раковиной и старой микроволновкой.

Чайник закипел с третьей попытки — старая проводка не выдерживала нагрузки, приходилось выключать обогреватель на время кипячения. Лев насыпал в кружку две ложки растворимого кофе, залил кипятком, размешал. Потом ещё две ложки сахара — для калорий. Потом отрезал кусок вчерашнего батона, намазал маргарином. Ел стоя, глядя в окно.

Во дворе старуха выгуливала собаку — маленькую, лохматую, похожую на мокрую тряпку. Собака обнюхивала куст. Старуха ждала. Лев смотрел на них и думал о том, что вчерашний штраф — две тысячи рублей — съел половину его заработка. Деньги, которые он копил на запись альбома полгода, отказывая себе в лишней чашке кофе, в новых струнах, в тёплых носках. Всё ушло в никуда, в чёрную дыру системы, которая не прощает ошибок, даже если это не твои ошибки.

Он посмотрел на гитару. Она стояла в углу, пыльная, с натянутыми струнами. Он не прикасался к ней три дня — не было сил. Но сейчас он вдруг почувствовал, что хочет взять её в руки. Не играть — просто держать. Просто чувствовать дерево под пальцами.

Он подошёл, взял гитару, провёл пальцем по струнам. Звук был глухим, расстроенным — инструмент давно не настраивали. Но даже в этом расстроенном звуке было что-то живое. Что-то, что напоминало ему: он не просто курьер. Он музыкант. Он пишет песни. Он умеет говорить с миром на языке, который мир не всегда слышит.

Он поставил гитару обратно, допил кофе, оделся и вышел из дома.

09:30. Улица. Дождь. Температура: 8° С. Запах: мокрый асфальт, выхлопные газы, сырость

Дождь шёл пятый час подряд — мелкий, косой, не осенний ещё, но уже и не летний, — и Лев промок до нитки через пять минут после выхода. Куртка, купленная в секонд-хенде три месяца назад, оказалась не водонепроницаемой, а «водоотталкивающей» — разница, которую он прочувствовал теперь каждой клеткой продрогшего тела. Вода стекала по волосам за шиворот, рубашка прилипла к лопаткам, в кроссовках хлюпало при каждом шаге.

Он не спал больше суток — вторую ночь подряд, если быть точным, сначала ночная смена, потом ещё одна, двойная, потому что сменщик заболел, а Лев не умел отказывать, когда речь шла о деньгах, которые нужны были позарез, всегда нужны, на запись, на студию, на жизнь.

Ночная смена закончилась в шесть утра, но домой он не попал. Сначала — полиция. Проверка документов на выезде из промзоны: «А что в коробе, откройте, пожалуйста». Пятнадцать минут под дождём, пока сержант изучал его паспорт с тем особым выражением лица, которое Лев знал слишком хорошо, — смесь подозрительности и скуки. Сержант смотрел на него, как на потенциального преступника. Лев стоял смирно, держал руки на виду, отвечал спокойно. Он знал эту игру. Он всегда её знал.

— Идите, — сказал наконец сержант, возвращая паспорт. — Не задерживайтесь здесь.

Лев пошёл. Он не злился. Он привык.

Потом, в восемь утра, соседи по лестничной клетке затеяли ремонт. Перфоратор выл так, что стены вибрировали, а вместе с ними вибрировала голова — пустая от усталости, злая от бессилия. Он не мог уснуть. Он просто сидел на кровати, смотрел в стену и слушал, как мир разрушает его последнюю надежду на отдых.

Потом пришло уведомление от сервиса: штраф за просроченный заказ. Две тысячи рублей. Заказ опоздал на семь минут — клиент указал неправильный подъезд, и Лев потратил время, чтобы найти его. Но система учла не причину, а факт.

Две тысячи. Половина дневного заработка.

Он шёл по мокрой улице и думал о том, что справедливости нет. Есть только факты. И факты складывались против него. Но он не мог позволить себе остановиться. Он должен был работать. Должен был бежать. Должен был держаться.

И он бежал.

11:30. Чистые пруды, дом 19. Дождь. Температура воздуха: 8° С. Запах: мокрый асфальт, собачья шерсть, старые книги

Дождь усилился. Лев промок насквозь — вода уже не просто стекала по одежде, она просочилась внутрь, и он чувствовал, как холод добирается до костей. Он свернул в подъезд старого дома на Чистых прудах, просто чтобы переждать самый сильный ливень.

Подъезд был старым, с облупившейся краской и запахом сырости. В холле первого этажа стоял стеллаж для буккроссинга — оранжевый, яркий, нелепый в этом сером пространстве.

Краска на стеллаже облупилась, обнажив серую древесину, похожую на больную кожу. На полках лежали книги — десятка три, не больше, покрытые тонким слоем пыли.

Лев подошёл к стеллажу. Он не знал, зачем. Он просто не мог стоять на месте. Его руки, замёрзшие и мокрые, потянулись к книгам. Детективы в мягких обложках, потрепанный учебник по сопромату, пара томов советской классики, какая-то книга на немецком. И один том, стоявший особняком.

Он был толстым, в тёмно-зелёном переплёте, с золотым тиснением — потускневшим, но всё ещё читаемым. Лев провёл пальцем по корешку, чувствуя подушечками шершавую ткань. «Макроэкономика. Под редакцией профессора Н. А. Новикова».

Он взял книгу. Тяжёлая — страниц семьсот, бумага плотная, добротная, из тех, на которых печатали учебники в девяностых. Она пахла пылью и старым клеем — запахом, который возвращал его в детство, в библиотеку, куда мать водила его по субботам.

Он раскрыл её наугад, и из книги выпала фотография.

Чёрно-белая, старая, с зазубренными краями. На ней была женщина — лет тридцати, с длинными волосами, убранными под косынку, с острыми скулами и взглядом, в котором читалась спокойная, уверенная печаль. Она стояла на фоне рояля и улыбалась — не в объектив, а куда-то вбок, словно видела там что-то, чего не видел фотограф.

Лев перевернул снимок. На обороте — мелким, но разборчивым почерком, чернилами, ставшими от времени коричневатыми:

«Позвони, если хочешь изменить жизнь. Мария.»

И номер телефона. Мобильный — Лев узнал код 8—903, старый московский код, такие номера раздавали в конце девяностых, когда сотовая связь ещё была роскошью.

Он смотрел на фотографию и не мог оторваться. Женщина в косынке, рояль, старомодная причёска — это могло быть и шестидесятые, и семидесятые. А номер — мобильный, конец девяностых. Несостыковка. Может быть, фотография старая, а надпись сделана позже? Или наоборот — снимок подражает ретро-стилю, а надпись современна?

Лев не мог разгадать эту загадку, но именно она — эта маленькая трещина в логике вещей — зацепила его сильнее всего. Мир не сходился. Мир предлагал ему пазл, в котором края одной детали не совпадали с краями другой. И это значило, что здесь есть тайна.

Он сел на корточки, прислонившись спиной к стене, и долго смотрел на фотографию. Вода стекала с его волос на бумагу, но он не замечал. Он смотрел на женщину, на её улыбку в сторону, на рояль, на её руки, лежащие на клавишах. И чувствовал странное, почти физическое узнавание. Как будто он видел её раньше. Как будто она ждала его.

Он верил в знаки. Верил с детства.

Мать, укладывая его спать, говорила: «Если увидишь на улице три машины одного цвета подряд — день будет удачным». Ему тогда было десять, и он верил ей безоговорочно. Он считал

машины по дороге в школу. Красные, синие, белые. Три белые — значит, хороший день. Три синие — плохой. Он верил.

Воспоминание пришло неожиданно — он сидел в подъезде с книгой в руках, и вдруг увидел себя маленьким мальчиком в Подольске, в той квартире, где они жили втроём: мама, папа и он. Мама сидела на кухне, наливала ему чай. Папа уже ушёл, но тогда он ещё не знал, что навсегда. Отец сказал перед уходом: «Я вернусь, когда ты найдёшь мой подарок». И оставил на антресолях старую гитару.

Лев нашёл её через два месяца — случайно, когда искал новогодние игрушки. Гитара была старой, с потёртым грифом и тремя струнами вместо шести. Он помнил, как достал её, как провёл пальцами по оставшимся струнам — и гитара зазвучала. Глухо, расстроено, но живо.

Отец не вернулся. Но гитара осталась. И Лев начал играть.

Может быть, это и был тот подарок. Не возвращение отца, а музыка. Музыка, которая стала его языком, его верой, его способом говорить с миром, который не слушал. Он верил в знаки, и эта вера заменяла ему религию, идеологию и план на жизнь.

Мир говорит с нами постоянно — просто мы не слушаем. А сейчас мир говорил с ним голосом пыльной книги, старой фотографии и номера телефона, который, возможно, уже не работал, но всё равно существовал — где-то в памяти оператора, в чьей-то записной книжке, в прошлом, которое не хотело отпускать настоящее.

Он аккуратно вложил фотографию обратно в книгу. Потом снял рюкзак, вытащил из бокового кармана полиэтиленовый пакет — он всегда носил с собой пару штук, привычка курьера: заказы нужно беречь от дождя, — и завернул книгу в два слоя. Проверил, плотно ли прилегает плёнка. Только после этого убрал книгу в рюкзак.

Он знал, что заберёт её. Он не мог оставить её здесь. Она ждала его. И он ответил.

Телефон завибрировал: новый заказ. Адрес — клиника «Вита-Мед», улица Академика Волгина. Обед для врача. Время доставки — тридцать минут. Штраф за опоздание — ещё две тысячи.

Лев выдохнул, поправил рюкзак и выбежал под дождь.

На бегу он думал о книге. О профессоре Новикове — кто он? Экономист, судя по учебнику. Преподавал где-то? Жив ли ещё? И кто такая Мария — дочь, жена, студентка? И почему её фотография лежит в учебнике макроэкономики — дисциплине, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к роялям, косынкам и приглашениям изменить жизнь?

Он думал о том, что позвонит. Обязательно позвонит — сегодня вечером, когда закончит смену и примет душ, и согреется, и сможет говорить спокойно, а не задыхаясь от бега и холода. Он не знал, работает ли номер. Не знал, кто возьмёт трубку. Но он знал, что эта книга попала к нему не случайно.

Ничто не происходит просто так — даже дождь, даже штраф, даже бессонная ночь, которая привела его в этот подъезд, к этому стеллажу, к этой фотографии.

Он бежал по Профсоюзной, обгоняя машины, которые стояли в трёхрядном заторе. Дождь хлестал в лицо, и он не видел дороги, но знал — нужно бежать. Нужно успеть. Нужно доставить заказ. Нужно жить.

И вдруг — на секунду, на мгновение — он почувствовал странное спокойствие. Как будто он делал не просто свою работу. Как будто он был частью чего-то большего. Ритма, в котором звучала музыка.

Он бежал под дождём, и в рюкзаке у него лежала книга. Книга, которая ждала его. И номер телефона, который мог изменить его жизнь.

Он не знал, что в этот самый момент профессор Новиков — тот самый, чей учебник лежал в его рюкзаке, завернутый в полиэтилен, — сидел на скамейке в парке на Академической, в двадцати минутах ходьбы от клиники «Вита-Мед», гладил своего старого рыжего спаниеля и чувствовал, как в груди разрастается тупая, давящая боль, которую он по привычке принимал за изжогу.

И уж точно он не знал, что через два с половиной часа обед, который он вёз в клинику, опоздает — не по его вине, а из-за пробки на Профсоюзной, — и это опоздание запустит цепочку событий, которая спасёт профессору жизнь.

Он бежал под дождём, и капли стекали по его лицу, смешиваясь с потом. Он бежал, не зная, что его жизнь уже начала меняться. Что книга, которую он нашёл, станет ключом к двери, за которой всё будет по-другому.

Он просто бежал. Потому что это было единственное, что он умел делать.

И в этом беге было обещание.

ГЛАВА 3. ЕКАТЕРИНА. ВРАЧ ИЗ ПАРКА

07:30. Квартира Екатерины, кухня. Температура: 22° С. Запах: свежесваренный кофе, тосты, лёгкая нотка духов — Екатерина всегда наносит их перед выходом, даже если никуда не собирается

Екатерина стояла у плиты и помешивала яичницу. Три яйца, взбитые с молоком, без соли — она следила за питанием. Сковорода была идеально чистой, без единого следа пригоревшего масла. Всё в её доме было идеально чистым. Идеально правильным. Идеально управляемым.

За столом сидел сын. Ваня, тринадцать лет, худой, с вечно растрёпанными волосами и сонными глазами. Он тыкал вилкой в омлет, не глядя на тарелку. Рюкзак валялся на полу, хотя Екатерина просила его вешать на крючок. Куртка была накинута на спинку стула, хотя вешалка была в двух метрах.

— Ваня, — сказала она ровным голосом. — Рюкзак. На крючок.

— Сейчас, — ответил он, не двигаясь.

— Сейчас или я уберу его сама, и ты будешь искать его целый день.

Он вздохнул — тем особенным подростковым вздохом, который заменял тысячу слов. Но он встал, поднял рюкзак и повесил на крючок. Криво. Небрежно. Но повесил.

— Ты сделал уроки? — спросила она.

— Да.

— Покажи дневник.

— Мам, я сказал — сделал.

— Я хочу убедиться.

Он посмотрел на неё. В его взгляде была усталость — не та, что бывает от недосыпа, а та, что бывает, когда человек давно перестал бороться. Он открыл электронный дневник, развернул телефон к ней. Пятёрки и четвёрки. Всё было в порядке. И всё равно она чувствовала: что-то не так.

Она подошла к нему, коснулась его плеча. Он не отстранился — но и не приблизился.

— У тебя всё хорошо? — спросила она.

— Всё нормально, мам.

— Ты не забыл ключи?

— Я не забыл.

Она хотела сказать ещё что-то — спросить про завтрашнюю контрольную, про форму на физкультуру, про то, записался ли он на кружок. Но она остановила себя. Она уже проверила всё, что можно было проверить. И всё равно чувство тревоги не отпускало.

Она посмотрела на него. В его лице, в его опущенных плечах, в его взгляде, устремлённом в тарелку, она видела его отца. Бывшего мужа. Того, кто ушёл, потому что не выдержал её контроля. Того, кто сказал перед уходом: «Ты не умеешь жить, Катя. Ты умеешь только управлять».

Он ушёл. И она осталась одна — с сыном, с работой, с идеальным порядком, который должен был защитить её от хаоса мира.

Но хаос всегда находил путь.

08:10. Подземная парковка клиники «Вита-Мед». Запах: бетон, выхлопные газы, резина

Екатерина спустилась на парковку за пять минут до выезда. Она всегда выезжала в 8:15 — чтобы успеть к 8:30 открытия. Сегодня она была особенно собранной — она не любила опаздывать. Её жизнь была построена на точности.

Она подошла к машине. И замерла.

Дверца со стороны водителя была прикрыта неплотно — не закрыта до конца, на пару миллиметров. В салоне горел свет. Он горел всю ночь.

Она открыла дверь, села за руль, повернула ключ. Тишина. Аккумулятор сел в ноль.

Она сжала руль так, что побелели костяшки. Сын. Вчера он попросил ключи, чтобы взять из машины свою куртку. И не закрыл дверцу. Просто не закрыл. Знал — но забыл. Или не захотел проверять.

Она вышла из машины, открыла капот. Окислившиеся клеммы, разряженный аккумулятор. Всё было очевидно. Всё было её виной — она должна была проверить. Она всегда проверяла. А сегодня не проверила.

Она вызвала такси. Опоздала на первый приём на двенадцать минут. Двенадцать минут хаоса. Двенадцать минут трещины в идеальном дне.

Она сидела в такси, смотрела на дождь, стекающий по стеклу, и думала о том, что этот день начался не так. И что трещина будет расти.

*10:00. Клиника «Вита-Мед», кабинет №7. Температура: 22° С. Запах: антисептик, детская присыпка, лилии (аромадиффузор на стойке администратора) *

Кабинет Екатерины был идеален — не в рекламно-глянцевом смысле, а в смысле абсолютной, выверенной до миллиметра функциональности. Ростомер стоял в двадцати сантиметрах от двери. Весы — в тридцати. Кушетка заправлена так, что простыня не образовывала ни

одной складки, способной оставить след на детской коже. Фонендоскоп лежал на столе под углом в сорок пять градусов к краю столешницы — так, чтобы взять его одним движением, не глядя, не отвлекаясь от пациента.

Екатерина создала этот порядок сама, годами, и поддерживала его с той же неукоснительностью, с какой другие люди поддерживают дыхание. Она была педиатром высшей категории, кандидатом наук, автором трёх статей в рецензируемых журналах. Её ценили родители — она находила общий язык даже с самыми истеричными мамами, потому что не сюсюкала, говорила серьёзно, как со взрослыми, и дети отвечали доверием. Её уважало руководство — она не опаздывала, не брала больничных и всегда заполняла документацию в срок.

Но сегодня что-то пошло не так. С самого утра.

Она приняла уже трёх пациентов, и каждый раз она чувствовала, что её мысли уходят в сторону. Она смотрела на детей и видела Ваню — его сонные глаза, его усталую спину, его руки, которые он прятал под стол. Она вспоминала, как он родился. Как она держала его в руках и думала: «Я никогда не позволю миру его обидеть». А теперь она сама его обижала. Своим контролем. Своими проверками. Своей любовью, которая не умела быть тихой и научилась быть только громкой.

В 13:45 она заказала обед. Куриный суп, салат, зелёный чай — ничего особенного, стандартный набор, который она заказывала три раза в неделю. Курьер должен был приехать в 14:10. В 14:20 его всё ещё не было.

Екатерина смотрела на часы. 14:20. Следующий пациент в 15:00. Сорок минут — достаточно, чтобы поесть и просмотреть лабораторные анализы. Но еды не было, и время уходило, и вместе с ним уходил контроль — медленно, неумолимо, как песок сквозь пальцы.

В 14:25 она позвонила в доставку. Робот сообщил: курьер задерживается из-за пробок, ориентировочное прибытие — 14:50. Слишком поздно. Она не будет есть перед приёмом — не будет глотать суп, глядя на часы и думая о том, успеет ли проверить, не осталось ли петрушки в зубах. Она вообще не будет есть до вечера.

Так решила Екатерина в 14:26, и это решение принесло ей странное, горькое облегчение. Лишение контроля над ситуацией компенсируется лишением себя чего-то ещё — этот механизм она знала за собой давно, с института, с тех голодных ночей перед экзаменами, когда отказ от ужина казался платой за лишний час подготовки. Сейчас это было то же самое — только плата шла не за знания, а за иллюзию, что она всё ещё управляет своей жизнью.

Она вышла из кабинета, предупредила администратора, что вернётся к 15:00, и спустилась на парковку. Машина стояла с открытым капотом — она договорилась с автомехаником, он приедет к 16:00, — и вид этого беспомощно распахнутого капота, похожего на разинутый в немо крике рот, вызвал приступ раздражения такой силы, что Екатерина зажмурилась. Сын. Опять. Вчера он забыл выключить свет в ванной. Неделю назад — оставил ключи в замке входной двери. Месяц назад — не закрыл кран, и вода текла всю ночь.

Она говорила с ним — спокойно, терпеливо, как врач с пациентом. Он кивал и обещал. И снова забывал. И снова она платила за его забывчивость — временем, нервами, а теперь и сорока минутами, украденными у рабочего дня.

Она открыла глаза. Повернулась и пошла к выходу.

14:35. Парк на Академической. Дождь. Температура: 8° С. Запах: мокрый гравий, прелые листья, сырость

До парка было семь минут пешком. Она знала это, потому что однажды, год назад, уже шла здесь, когда перекрывали улицы. Парк был старый, запущенный — не из тех, что облагораживают лавочками и фонарями, а из тех, что остались от советских времён и продолжали существовать по инерции. Дорожки посыпаны гравием, кое-где разбитым. Деревья — старые липы и дубы, их не спиливали только потому, что на этом месте ничего не строили. В центре парка — пруд, затянутый ряской, с полусгнившими мостками.

Екатерина шла быстро — она всегда ходила быстро, потому что быстрая ходьба сжигает калории и поддерживает сердечный ритм в целевой зоне, — но дождь замедлял её. Каблуки — только каблуки, шесть сантиметров, не выше, не ниже — скользили на мокром гравии. Пальто, дорогое, бежевое, итальянский кашемир, подарок самой себе на прошлый день рождения, намокало по подолу, впитывая воду и грязь.

Она думала о том, что пальто придётся сдавать в химчистку, и это ещё одна строка в списке дел, которые копились и требовали внимания. Она думала о сыне. Об анализах в кабинете. О пациентке с подозрением на астму. О счёте за электричество. О том, что надо записаться к стоматологу. Мысли теснились в голове, как пассажиры в час пик, — каждая требовала места, каждая толкалась локтями.

И тут она увидела его.

Старик сидел на скамейке у пруда. Скамейка была старая, чугунная, с облупившейся зелёной краской, — из тех, что стояли здесь лет сорок, если не больше. Рядом лежал спаниель — рыжий, с седой мордой, мокрый и дрожащий. Старик сидел, откинувшись на спинку, и не двигался. Одна рука лежала на колене, другая безвольно свисала вниз, почти касаясь земли. Лицо бледное, с сероватым оттенком — тем самым, который Екатерина видела сотни раз в ординаторской и который означал только одно.

Острый коронарный синдром. Она поняла это по посадке головы, по цвету губ, по тому, как пальцы сжимались и разжимались в медленном, бессознательном ритме.

Она бросила сумку на землю.

— Вы меня слышите? Я врач.

Старик не ответил. Его глаза — светло-голубые, выцветшие от возраста — смотрели сквозь неё, в серое октябрьское небо. В них не было ни страха, ни боли, ни узнавания. Только усталость. Только покой, который приходит перед концом и который Екатерина видела раньше — у самых тяжёлых, у тех, кто перестал бороться.

Она действовала автоматически. Тело помнило то, чему её учили пятнадцать лет назад, лучше, чем голова. Расстегнула ворот рубашки. Проверила дыхательные пути — свободны. Вызвала скорую — голосом, не отрываясь от осмотра, прокричав адрес парка и ориентиры.

Потом она взяла старика за плечи и потянула вниз, на землю. Скамейка не годилась — слишком узкая, слишком неровная, ни одной жесткой поверхности под спиной. Реанимировать на ней было бесполезно: компрессии уйдут в пустоту, прогибая доски, а не продавливая грудную клетку. Нужна земля. Мокрая, холодная, грязная — но жёсткая.

Она стащила его. Старик был лёгкий — кожа да кости, — но тело слушалось плохо, как мешок с песком. Екатерина опустила его на гравий, не заботясь о том, что его одежда немедленно промокла, что его затылок лёг в лужу, что дождь бил ему в лицо. Всё это не имело значения. Имело значение только одно: ритм.

Она начала непрямой массаж сердца. Раз, два, три... тридцать нажатий. Гравий хрустел под коленями, впиваясь в кожу сквозь колготки. Пальто волочилось по земле, вбирая грязь и воду, — бежевый кашемир превращался в бурую тряпку, но она не замечала. Она считала вслух, монотонно, как метроном, — раз, два, три, — и давила, давила, давила на грудную клетку, чувствуя, как под ладонями хрустят старые, хрупкие рёбра. Хрустят — это хорошо. Это значит, глубина компрессии достаточная. Это значит, сердце получает шанс.

Спаниель скулил. Где-то далеко шумели машины. Дождь продолжал падать — мелкий, холодный, равнодушный. Екатерина работала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.